
Сергей КОРОСТЕЛЕВ

ВТАЙНЕ

Повесть

Всё тайное становится явным?

I

Про таких сыновей отцы обыкновенно говорят: «Мой оболтус». Произносится вроде с любовью, но больше, конечно, с укоризной: так из-под густого грунта родительского обожания пробиваются ростки неудовлетворенности. Мы всегда ждем от детей большего — хотим, чтобы они стали лучше, чем мы.

Несколько лет мой оболтус твердил только об экономическом — и вот в последний год передумал: решил поступать на психолога. Час от часу не легче! По-моему, нет более наглых и отъявленных шарлатанов, чем экономисты и психологи. Нас, писателей, тоже раньше рядили в целителей, инженеров человеческих душ, но мы-то, благо, давно сбросили эти помпезные, не подходящие нам по сану одежды — и, не претендуя больше на многое, напялили родной шутовской наряд. Честно признаюсь, мы абсолютно бесполезны, а наши творения — лишь безделица, которую мы бросаем на потеху толпе; хорошо, когда с ней долго не наиграются, плохо — когда забывают тут же. По крайней мере, убежденность в тщетности всяких творческих, литературных устремлений главенствовала в моем сознании до недавних пор. И про подавляющее число писателей — почти всех, включая, конечно, и самого себя, — я продолжаю думать точно так и сейчас.

А сын... лучше бы он метил хоть в адвокаты — об этой стезе он мечтал в детстве. Когда мы виделись с ним в последний раз — живет он с моей бывшей женой, — я сделал очередную робкую попытку поговорить с ним «за жизнь», и опять получилось как-то вяло и искусственно. Не то чтоб судьба его мало меня заботит и не то чтоб он плохо меня воспринимает, но из-за врожденного упрямства (у него плохая наследственность) все равно делает все по-своему, и мнение мое его мало волнует; а у меня нет сил даже на то, чтобы злиться. Мать его выбор учиться на психолога поддержала — сама охотно изливает душу «профессионалу», — ну и бог с этим! Профессия не пыльная и может стать достаточно хлебной, — а что еще нужно? Хорошо, хоть не попер по моим стопам — вот был бы номер!..

В Литинституте учится сын одного из моих издателей, можно сказать, моего доброго приятеля Виктора (назову его так). Мужик он толковый, любит разложить все по полочкам, умеет вести дела — обсуждать, убеждать, — и, кажется, посади с ним за

Сергей Геннадьевич Коростелев — журналист, публицист, писатель. Родился в 1988 году в Липецке. Окончил факультет журналистики МГУ, кандидат филологических наук, автор монографии «Журнал „Летопись“ (1915–1917) и газета „Новая жизнь“ (1917–1918) в историко-культурном контексте» (СПб.: Дмитрий Буланин, 2015), лауреат нескольких литературных конкурсов. Живет в Москве.

стол самого дьявола, именно он, Виктор, начнет диктовать свои условия, а никак не наоборот. Мы с ним много ездим на всевозможные «встречи с читателями» — и по России, и за рубеж. Чего у него еще не отнять, так это умения по-свойски держать себя, не скатываясь до фамильярности. Сохраняя дистанцию почтения, Виктор при этом дает понять: «Старина, я — и никто другой — отныне твой лучший друг и самый надежный партнер. Можешь на меня положиться». Виктор любит широкий жест, но ухитряется, как я заметил, делать его все время *не за свой счет*. Вообще же прижимист чрезвычайно, хотя скрывает свое скопидомство с такой элегантностью, что следовало бы поучиться. Вот бы и мне с такой же легкостью камуфлировать свои недостатки!

Пару месяцев назад я заехал в издательство — по поводу продления прав на одну мою книгу, написанную в жанре документальной прозы. На всех моих опусах лежит, как считается, печать таланта, а эта книга и вовсе числится среди лучших. Страшно сказать, я написал ее больше десяти лет назад. Связывал с ней массу надежд — но время мой пыл остудило. Выход книги нарекли каким-то там событием — право, я сейчас не понимаю, чего такого нашли в ней критики, эксперты, члены жюри; все кажется мне теперь каким-то гадким обманом. От самообмана я, к счастью, избавился... Так вот, книгу приняли восторженно, и она была номинирована на несколько премий — первого места, однако, я с ней нигде так и не занял. Творение выдержало несколько переизданий. Виктор договаривался со мной об еще одном. Все они в издательстве по роду деятельности ухватистые коммерсанты — и хотят теперь вытянуть мою книгу из читателя последние денежные соки.

Все было буднично. Ясно. Все обговорено. Можно было и уходить, тем более что дел в газете, где я работаю, было по горло. Но этикет препятствовал простому и естественному расставанию — нужно было создать видимость чего-то еще, что-то еще сказать — что-нибудь постороннее, не относящееся к делу; желательно пошутить. Я мялся, а Виктор меня, как всегда, выручил. Рассказал, что лучший друг его сына, тоже студент Литинститута, «застукал» своего отца, технаря до мозга костей, за сочинительством, что явилось для всей семьи полной неожиданностью. Почтенный отец семейства о своем «баловстве» никогда не рассказывал и был, как считали все близкие, бесконечно далек от литературы... Виктор знал меня как собирателя всяческих анекдотов, баек и патологических случаев — под этим соусом он мне эту историю и преподнес. Но в тот момент я нисколько не заинтересовался. Подумаешь, отыскался еще один графоман — не пишет сейчас только ленивый! Весь Интернет пестрит бездарной аляповатой галиматей: рассказами домохозяек, стихами «пролетариев», фэнтезийными романами в исполнении офисного планктона... Скучно. Может быть, у меня просто не было настроения.

Месяц спустя мы с Виктором гостили на книжной выставке в Екатеринбурге. Называлась она «Урал читающий». Я снова хандрил, и читающий Урал показался мне таким же унылым, покрытым толстым слоем промышленной пыли, налетающей с бесчисленных заводов, как и весь остальной Урал, живущий обычной жизнью. Я был там единственный раз и не знаю, правдиво ли мое впечатление, или это очередная аберрация моего болезненно восприимчивого сознания... Там, в Екатеринбурге, во время какого-то застолья или, вернее, фуршета Виктор снова обмолвился о чуде — прилежном семьянине, который, оказалось, «грешит» втайне от домашних «литературной деятельностью», как Виктор изволил выразиться. Но и тогда я остался равнодушен: воспринял это лишь как нелепый, ничтожный семейный курьез.

Так бы я ничего и не узнал, если бы не удивительное, почти мистическое (не последнее и потому мистическое, наверное, без оговорок) совпадение: об этом же человеке (пусть его фамилией будет Попов) я услышал от своей сестры — она контакти-

рует с женой Попова по делам своей фирмы, а иногда общается с ней за ланчем. Мирто, пожалуй, и тесен, но наш-то резиновый мегаполис, несмотря на тесноту в метро и на автотрассах, так объемён, так многолюден...

Как бы то ни было, я оказался причастен к событиям, сначала меня чрезвычайно воодушевившим, а в конечном счете, как водится, обескуражившим, выбившим из-под ног почву... Все произошло так стремительно, что я никак не могу отойти от случившегося... Именно поэтому — в нарушение некоторых запретов — я решил об этом написать.

II

Сын Попова, видимо, один из тех оболтусов, о которых я говорил в самом начале, зачем-то полез в отцовский портфель — сам Попов уехал (с другим портфелем) на конференцию в Питер. В кипу бумаг формата А-4 Попов-младший заглянул из чистого любопытства. Текст привлек его внимание сначала потому, что был написан, несомненно, отцовской рукой — спутать его почерк совершенно невозможно (хотя до сих пор где-то глубоко во мне живет подленькая надежда, что все это какая-то хитро выдуманная мистификация, цель которой оболванить то ли меня, то ли... все человечество в моем лице). Студент Литинститута, сынок легко вычислил, что перед ним художественное произведение, что поразило его, ибо он был уверен, что родной отец его если и соприкасается со словом, то исключительно с научным. Попов работает в одном из физических НИИ — даже не в самом институте, а в прикрепленном к нему замшелом архиве, кем-то вроде архивариуса. Будучи начинающим литератором, Попов-младший, безусловно, имел определенные представления о прекрасном, и отцовский текст пришелся ему по душе. Хотя в первую очередь, думаю, сыграл свою роль именно эффект неожиданности: сын никак не ожидал, что отец выкинет такой фокус! Ну, и следом наверняка разыграло чувство... гордости, что ли; а еще эйфория от того, что в общении с отцом удастся выстроить новый мостик, основанный на общих интересах.

Эмоциями, его переполнявшими, Попов-младший решил поделиться с отцом лично (когда тот вернется) — не вбивать же длинное сообщение в *messenger*! Для начала же, недолго думая, решил показать отцовское сочинение друзьям в Литинституте. Среди «друзей» оказался один преподаватель — Никитин, мой однокашник; с недавних пор ему, как научному руководителю, позволено брать себе дипломников. Даже беглого ознакомления с текстом Никитину оказалось достаточно, чтобы прийти в восторг от прочитанного (что удивительно, я, если честно, всегда считал его поверхностным, недалеким человеком, страдающим дурновкусием). Никитин поздравил Попова-младшего с литературными успехами отца, пожелав ему достичь рано или поздно такого же мастерства. Каким образом пройдоха Никитин умудрился отксерокопировать себе этот диковинный текст (как я потом выяснил, только его часть) — ума не приложу!

Какое-то время спустя Никитин гостил у меня в редакции. Говоря по правде, рад я ему не был. Деликатности ему не доставало, и он досаждал мне даже тогда, когда мы встречались вне работы. Все те же густые, масляные, кошачьи глаза, елейный голос, ровная, свежеподстриженная, словно хороший английский газон, борода — этот великовозрастный молодящийся *hipster* постоянно наведывался в *barbershop*. Думаю, вам это прекрасно знакомо: старые друзья жутко раздражают, но ты все равно их терпишь, памятуя об идущей из глубины веков мудрости, что каждый из них лучше новых двух; не порывать же с ними?

Так от Никитина мне в руки и попал поповский текст; Никитин хорошо помнил, что начинал я как литературный критик, открыватель и «закрыватель» талантов, как

молодых, так и уже якобы состоявшихся. На этом поприще я сделал себе имя: маститые писатели поминутно вздрагивали в ожидании, что напишу я об их новой книге — разобью ее в пух и прах или, проявив немного жалости, сострадания, сделаю вывод, что автор не безнадежен. Теперь мне отчего-то неприятно вспоминать о том этапе моей карьеры, и я отрешиваюсь от «проклятого прошлого», как могу. Из критиков я давно ушел в писатели, но старые навыки, отточенные, как оружие бравого вояки, никуда не делись. При иных обстоятельствах я, безусловно, отказался бы разбирать чьи-то каракули (пусть даже оценить их просит мой друг), сославшись на занятость и на то, что давно «завязал». Но фамилия Попова была мне знакома, и я нехотя согласился.

Этот таинственный Попов со своим непонятным творчеством как будто ломился ко мне в дом, но не в парадную дверь, а с заднего хода — и шумел и ругался: где хозяин и почему его не пускают. Так мне это представлялось, и я вознамерился быстро разоблачить Попова как типичного борзописца, имя которому легион. Заодно лишний раз можно потом позанудствовать на тему бестолковости молодежи, съязвить в разговоре с сестрой, поставить на место Никитина, пошутить о поповских поделках на очередном светском рауте с Виктором — когда нужно будет заполнить паузу или расстаться на мажорной ноте. В конце концов, пусть они уяснят, что в литературе я понимаю больше, чем все они, вместе взятые, думал я.

Я засел за текст тем же вечером.

Непросто было свыкнуться с причудливым начертанием букв. Ну кто сейчас пишет от руки — что за дичь? Почерк, впрочем, хотя и оставлял желать лучшего — мысль автора значительно опережала двигательные способности пальцев, — был все-таки удобоваримым: видно было, что автор делал над собой усилие, чтобы совсем уж не разгуляться — чтобы написанное можно было разобрать без серьезных проблем. Шестьдесят семь листов были старательно исписаны с обеих сторон, везде — в правом верхнем углу — нумерация. Словом, геройства Шампольона, Вентриса или Кнорозова от меня не потребовалось и, быстро освоив все индивидуально авторские крючки и закорючки, я бросил думать о форме — и просто погрузился в поистине волшебное содержание. Все сокровенное, магическое, что только есть в литературе, — теперь я не сомневался, что оно есть, — всем этим дышало произведение Попова.

«Да что же это такое? — бешено проносилось у меня в голове. — Попов-младший, Никитин, может быть, кто-то еще, не считая автора, — да узрели ли они хотя бы толику того, что вижу здесь я?»

Художественное произведение было, однако, не полным — передо мной лежала лишь одна из глав, притом далеко не первая; лишь часть какого-то громадного, титанического замысла. Фантастика (имею в виду не только качество написанного, но и жанр). Некая космическая сага. Я с легкостью ухватился за сюжетную нить, хотя многое оставалось неизвестно — как в сложном уравнении с иксами, игреками, зет... Повествование развивалось не слишком стремительно... и все же достаточно динамично. Мелькали герои, диалоги, пейзажи (какая-то далекая планета?), авторские ремарки, отступления, ретардации... Несомненно, действие романа разворачивалось в далеком будущем — с одной стороны, неведомом и потому притягательном, а с другой — имевшем явственную связь с миром нашим, настоящим.

Боже, как же блестяще это было написано! Я обомлел, ибо никогда не встречал столь гармоничный, воздушный, чарующий слог. С точки зрения авторских приемов — они изобличали зрелого мастера — все укладывалось в рамки классической писательской геометрии, но простота была обманчивой; таилось в тексте нечто неуловимое, невычислимое: параллельные прямые наверняка сходились где-то в туманной космической бесконечности. Тот, кто это написал, был несомненным гением — сам Попов или, может, Господь, водивший его рукой.

После полутора часов чтения я сделал небольшую передышку — вот в чем преимущество холостяцкой жизни: никто не мешает, не теребит, нет никаких обязательств по дому и нужно лишь подбросить еды коту, — и снова жадно прильнул к тексту. Я повидал столько писателей-новаторов, экспериментаторов, толковавших о создании принципиально новой повествовательной техники, которая так увлекла бы читателя, что тот не смог бы оторваться от произведения. Их пустословие пора прекращать. Их опередили. Если бы существовали литературные патентные бюро, Попову стоило бы бежать туда опрометью. Его текст буквально завораживал; каждое слово — как нота, и ни одной фальшивой! Мне захотелось тут же перечитать заново — медленнее, спокойнее, обращая более пристальное внимание на детали, оттенки смысла. Находясь во власти колдовских чар, я, однако, сохранял холодную голову — отдавал себе отчет, что передо мной исключительное произведение, которое, без преувеличения, стало бы настоящим открытием для критика, филолога, а главное — для любого «рядового» читателя.

Я просидел до ночи — именно просидел, ибо лежа читать не могу, да и не тот это случай. Случай уникальный, в этом я не сомневался. Иногда я на минуту вскакивал из-за стола, чтобы лучше переварить прочитанное. Удаляясь от настольной лампы, я уходил во тьму, которая покрывала большую часть комнаты, — лишь уличные фонари добавляли немного жиденького оранжевого света.

Мне сорок с лишним лет, в последнее время я так пресытился литературой, что словно одеревенел — и для профессии стал, в сущности, не пригоден, не признаваясь в том до конца ни себе, ни тем более издателям. И вот мне в руки попадает безоговорочный шедевр, пусть лишь фрагмент, который заставляет меня по-юношески восторженно встречать каждый абзац. Я тщился угнаться за авторской мыслью, встроиться в величественный поток его фантазий, разгадать его магические образы — и признавал за Поповым безусловное первенство, чувствуя себя неофитом, готовым ловить каждое слово маэстро. Много лет трудно было меня удивить — и вдруг я оказался сражен наповал.

Ложась, взбудораженный, спать, я твердо решил, что встречу с Поповым. Мог ли я представить, что это произойдет завтра? И — что все так обернется?

Мы люди занятые, у нас сумасшедший график, все дни расписаны. На то, чтобы состыковаться и пообщаться с приятелем, уходит порой не один месяц. Попов не был моим приятелем или коллегой, и к возможности увидеть его завтра вечером я отнесся как к редкой удаче. Я хотел высказаться. Теперь-то я понимаю, что спешить не стоило. Надо было все как следует обдумать. Хотя предвидеть реакцию и поведение Попова я, наверное, все равно не сумел бы...

С самого утра на работе я был чумной, невыспавшийся, думал все время не о том, о чем следовало. К счастью, четверг у меня не самый загруженный день: после традиционной планерки я предоставлен самому себе. Позвонил Никитин. «Что за навязчивость! — подумал я раздраженно. — Уже не терпится узнать, смотрел ли я рукопись, и если да, то каков мой вердикт». Но оказалось, что звонит Никитин по другому поводу. Попов-младший об этом стыдливо умалчивал, а между тем еще два месяца назад, когда Попов вернулся из командировки и узнал о «манипуляциях» с его текстом, то закатил жуткий скандал. Все близкие (да и дальние) знали Попова как человека мирного, степенного, даже робкого (и непыющего) — и настолько бурная реакция стала для домашних неожиданностью даже большей, чем то, что он занимается творчеством.

Сам Никитин узнал об этом только утром — вместе со свежей новостью: только что Попову стали известны вторая и третья части правды. Вторая: что он, Никитин, отсекоропировал поповский текст. Третья: что успел передать его мне. Попов пришел в не-

описуемую ярость: бранился, угрожал подать в суд за кражу интеллектуальной собственности. Никитин был подавлен. Сказал, что заедет ко мне сегодня, чтобы забрать рукопись. Однако рукопись-то осталась дома, а главное, у меня в голове моментально созрел план: как бы там ни бушевал Попов, как бы ни обернулось дело, это — мой шанс с ним встретиться, и упускать его нельзя (ни шанс, ни тем более Попова). Под предлогом дружеской помощи я озвучил Никитину встречное предложение: мол, могу вернуть рукопись сам. Поначалу Никитин отнекивался, но я мигом сообразил, что участвовать в этой истории ему совсем не хотелось — стоит мне поднажать, и он согласится. Так и произошло. Я прямо сказал Никитину, что мне, известному писателю, будет проще замять дело, и Никитин, размякнув от радости как человек, сваливший свои проблемы на другого, долго и слащаво благодарил меня. Последнее было лишним, но в целом я добился того, чего хотел.

Через какое-то время мне позвонили — правда, не сам Попов, а его сын. Попову-младшему, видно, здорово досталось: говорил он испуганным и неестественно шелковым голосом — в обычном состоянии ведет он себя, насколько я понял, куда наглее. Оболтус спросил, когда лучше подъехать, чтобы забрать текст. Но текст лежал у меня дома, а я жаждал побеседовать с его автором — казалось, за ночь я превратился в фаната, готового пойти на любые ухищрения, чтобы увидеть своего кумира, прикоснуться к нему. Я стал выдвигать свои условия и вынудил Попова-младшего переквалифицироваться из курьера в посредника. Участь эта его не прельщала, он вилял, извивался — очевидно, боялся новых неприятностей с отцом, — но я стоял на своем.

Последовала длительная пауза; только ближе к концу рабочего дня — все это время я не мог сосредоточиться и не находил себе места — мне позвонил сам Попов. Голос его звучал как лед или как металл, и я чувствовал, как этот загадочный человек по ту сторону телефонных проводов трясется от раздражения и ненависти ко мне. Я понимал его: окажись на его месте я, ситуация мне бы тоже не понравилась. Но я сохранял твердость и невозмутимость, рассчитывая, что мое имя — пришлось представиться несколько высокопарно, перечислив все свои основные писательские регалии, чего я терпеть не могу, — возымеет нужное действие: лед будет растоплен. Кроме того, я просто сказал, что оцениваю его работу чрезвычайно высоко, что я-де кое-что в этом смысле — и хочу позжать руку автору столь замечательного произведения, узнать подробности замысла, на какой стадии находится работа и многое другое. Я намекнул, что его произведение могло бы украсить отечественную словесность.

Трудно было предугадать, что он обо всем этом думает, как воспримет мои слова — он и не говорил толком, давась от раздражения, и все откашливался, как будто пытался исторгнуть страшное проклятие в мой адрес, и только интеллигентность, воспитанность не позволили. В конце концов он согласился встретиться. Мы договорились на половину девятого — в центре, в забегаловке у метро.

III

Попов был старше меня, ему было за пятьдесят, но, странное дело, я увидел перед собой почти молодого человека, как будто время не имело над ним власти; и хотя морщины избороздили его лицо, в волосах завелась проседь, как и положено в его летах, однако эти признаки зрелости, подступающей старости казались на его лице чем-то наносным, что при желании можно легко стряхнуть. Время не старило его, а словно набрасывало на лицо грим, который придавал ему дополнительный шарм, как актеру, которому перед выходом на сцену создали идеально отточенный образ. Он производил впечатление доброго, мягкого человека, совершенно неконфликтного, покладистого в семье и в быту, верного мужа и примерного отца — словом, был имен-

но таким, каким представляло его большинство и каким мне его обрисовали. Как же они заблуждались, не видя, что этот человек словно черный ящик с двойным дном!

Неудивительно, что Попов взорвался, когда узнал, что читали его рукопись. И, повторю, это стало для его родных куда бóльшим — и весьма неприятным — сюрпризом, чем то, что он что-то там втайне писал. Бог ты мой! Конечно, в умах особо изощренных могли возникнуть подозрения относительно столь тщательно оберегаемых от постороннего глаза текстов — не запрещенная ли литература? Но это уж совсем смехотворно: каждый думает в меру собственной испорченности.

Я поздоровался, представился, протянул руку — он пожал ее как бы нехотя, но в то же время с достоинством и по-настоящему. Рукопожатие его меня поразило: не думаю, что он просто не вложил в него всю силу, нет; ручонка его была маленькой, худосочной — какой-то по-детски слабой. Даже девушки демонстрируют порой удивительную силу и цепкость рук. К примеру, моя бывшая жена хватает так, что не вырвешься — своего она никогда не отпускает. Попов же, казалось, никогда не держал ничего тяжелее авторучки и вилки с ложкой и едва ли хотя бы раз в жизни подтянулся на турнике... Впрочем, физические данные бывают обманчивыми — может, я ошибаюсь.

— Верните мне мой текст, — сухо сказал он, безо всяких обиняков и предисловий. Потом, впрочем, добавил: — Вы и ваши друзья не имели права копировать мое сочинение, даже частично...

Позже Никитин признался, что те шестьдесят семь страниц, что оказались у меня, были лишь частью главы — то ли из-за лени, то ли по головотяпству Никитин отсканировал не все.

— Да, это произошло по нелепому недоразумению, отчасти виноват я сам, — продолжил Попов. — В любом случае... верните, и мы закроем вопрос.

Слова его звучали властно, убедительно, и мне сделалось жутко неловко: рукопись попала ко мне таким странным образом, отчасти случившееся походило на подглядывание в замочную скважину.

— Конечно-конечно, — промямлил я и достал из рюкзака папку с рукописью. Я расстался с нею с какой-то тупой, унылой, подавленной обреченностью.

Попов же со сдержанным облегчением убрал рукопись. Он молчал, словно знал, что сейчас-то я отброшу скованность и разражусь тирадой.

— Спасибо. То есть... извините меня. Я прочитал вашу рукопись, главу, только ее часть, и вы знаете, я снимаю перед вами шляпу! Нет. Простите, не те слова... То, что вы написали, что вы пишете... блистательно, прекрасно!

Ни один мускул не дрогнул на его лице, как будто он слышал такие признания тысячу раз. Но он же писал в стол, рукопись хранилась у него где-то в укромном месте, может быть, под замком, и никто не увидел бы ее, если бы не случай. Попов, должно быть, очень хорошо владеет собой, раз столько лет — я почему-то уверен, что длится это очень давно, — ведет потаенную жизнь.

— Иной на моем месте польстил бы вам, назвав новым Достоевским или Львом Толстым... Уверял бы, что Стругацкие позавидовали бы, что созданное вами не принадлежит им. Но все это ложь. Нет, равнять вас с кем-либо из прошлого не пристало. Я думаю, вас ждет слава настоящего, самостоятельного писателя — без всех «приставок». И знаете, это такая редкость...

Я ждал, что моя искренность, откровенность произведет определенный эффект. Ничуть не бывало. Маска по-прежнему стягивала его непроницаемое лицо — на самом деле такое живое, полное подлинных, возвышенных чувств.

— Вы преувеличиваете, — он пристально посмотрел мне в глаза, рассчитывая, что я все пойму, и, отчего-то вздохнув, произнес: — Я вовсе не хочу это афишировать. Это мое личное дело. Прискорбно, что я стал невольным виновником небольшого переполоха.

В этот момент я почувствовал, что Попов ускользает от меня, словно прибор, достигший на песке своей максимальной отметки и теперь поспешно удаляющийся обратно в море. А нахлынет ли волна снова? Самое страшное, что ускользала и рукопись, которую он ловко припрятал. Я осознал, что совершил ужасную ошибку, расставшись с никитинской копией так запросто: сейчас этот странный человек уйдет — он сделал характерное движение корпусом, подался из-за стола, начал собираться, — уйдет... и что дальше?

Гордость, самолюбие зыграли во мне:

— Пойдите, мы еще не договорили. Я известный писатель...

— Да, вы уже говорили, — выпалил он беззлобно.

— ...И я считаю себя не хуже многих популярных, «раскрученных» современных прозаиков, черт бы их побрал! Они... то есть я скажу прямо: мы... мы вам в подметки не годимся! Но дело не в этом. Я вращаюсь в издательских кругах, у меня неплохие связи... — тут мне почему-то вспомнилось самодовольное лицо Виктора, и я впервые ощутил к нему антипатию — заочную и потому, наверное, особенно стойкую. Эмоция показалась мне постыдной, подлой, и я за нее тут же укорил себя. Но при этом успел подумать: «Нет-нет, Виктору показывать этот бриллиант ни в коем случае нельзя. Надо найти кого-нибудь попримичнее... А впрочем, все они одним миром мазаны. Хорошо, что есть еще Интернет, свободные платформы, все можно устроить...»

— Да пойдите же вы, пожалуйста! — закричал я, ибо Попов потянулся к вешалке, где висело его пальто. — Расскажите о вашем произведении, мне очень интересно... Как он называется — ваш роман? Какие у вас планы? На какой стадии вы сейчас? И вы ведь, надеюсь, набираете текст на компьютере — не пишете же от руки! Впрочем, это не проблема...

— Да, я ретроград, — сказал он, накидывая на плечи пальто. Я вскопчил в надежде, что сумею его удержать, за что-нибудь ухватиться. — Компьютером владею, — продолжал он, — но... ничего настоящего, стоящего писать на нем не могу. Пишу от руки, как в старые добрые времена. Сейчас-то, конечно, доминирует «цифра», все оцифровано, так легче распространять информацию, передавать от одного к множеству, от множества к еще большему множеству... Мне это, слава богу, не нужно. Так даже лучше: меньше вероятность, что вмешаются любопытные. Или любопытные не в меру.

Последнее явно относилось ко мне. Мне стало обидно, что он не желает удостаивать меня вниманием, что, заполучив ксерокопию своей драгоценной и таинственной рукописи, просто сбегает от меня. Нужно что-то предпринять, срочно спровоцировать его на откровенность.

— Слушайте, да что вы о себе возомнили? — сказал я с досадой. Погорячился. — Что вы вообще думаете... обо всем? — лепетал я, устыдившись первой своей фразы. — К чему такая скрытность?

Но он уже затыкнул на шее шарф, держа под мышкой портфель.

— Поверьте, относительно собственной персоны, как и относительно моей писанины, я придерживаюсь самого скромного мнения, — сказал он напоследок. — Всего хорошего!

И ушел. Он ушел, а я остался. Рухнул на стул. Боковым зрением я видел, как хищно наблюдает за мной официантка — ее так и подмывало еще раз подсунуть мне меню, но, видимо проникшись сочувствием, она все же решила меня не беспокоить.

Я сидел в оцепенении. Никогда еще меня так не «кидали» — ни женщины, ни завистники, ни конкуренты. Я чувствовал себя измочаленным, выброшенным на помойку; такое разочарование бывает, когда высвобождаешь из-под привычно тяжелой, лязгающей брони душу и идешь с ней к другому человеку с самыми светлыми, бла-

городными намерениями — с жадой сделать что-то доброе и бескорыстное. Не для себя сделать — хотя, наверное, и для себя тоже. А может быть, как раз для себя в первую очередь — чтобы умилиться своему поступку...

В расстроенных чувствах я провел остаток недели. Искренний порыв мой был встречен холодно, как будто свежий весенний ветер, вырвавшийся из пещеры, уперся в неприступную ледяную скалу; помощь — отвергнута. И все же на следующей неделе — у меня ведь теперь был его номер телефона — я стал просить (почти требовать) еще одной встречи. Я собрался в кулак, перестроился, подготовил новую тактику. Он не имел права со мной так разговаривать. Каким бы гением он ни был, я тоже не щенок и не первокурсник — это я проговаривал скорее про себя, ему же писал в выражениях несколько иных, сглаженных, осторожных. И рукопись его я отнюдь не крал, я просто хотел обстоятельно все обсудить — как знаток, как ценитель литературы... Сначала он просто не отвечал или писал нечто совершенно невразумительное, а потом, к моему удивлению, вдруг согласился — в следующую субботу мы увиделись еще раз.

Я попытался начать с чего-то абстрактного, постороннего, хотя интересовало меня только одно — его текст.

— В прошлый раз мы закончили на вашей скромности, — сказала я. — Скромность, говорят, украшает человека, но... в разумных пределах. А ваше произведение, в силу своего несомненного величия, не перебивайте меня, пожалуйста, я кое-что смыслю в литературе, и, в конце концов, это мое мнение!.. так вот... в силу своей грандиозности оно выбивается из всяких пределов. Как бы вы ни юлили, как бы вы ни отмахивались, вам не удастся скрыть... что ваш текст — подлинное сокровище! И что же, вы хотите его спрятать? Надо же быть гуманистом! Давайте созидать подлинного «человека читающего», как говорят у нас часто всуе, к месту и не к месту; помогите озарить его светом красоты... настоящего искусства... Я не понимаю, в чем проблема.

— Проблемы нет. Проблему создаете вы... вашей неуместной настойчивостью, извините, — Попов казался растерянным и смотрел как-то виновато. — Вы вот толкуете о гуманизме... Не будете же вы проявлять насилие над моей личностью! Я не хочу славы, не хочу денег, которые я, наверное, мог бы заработать на... публикациях, или как это у вас называется?

— На тиражах.

— Да-да, на тиражах.

— И будут премии. У некоторых из них — солидный призовой фонд. Подумайте о Нобелевке...

Нобелевская премия отнюдь не казалась мне в данном случае целью чересчур смелой, амбициозной, недостижимой, тем более что хлопотал я не за себя, но Попов ехидно рассмеялся.

— Ну конечно! И я ведь знал, что рано или поздно вы пустите в ход еще и денежный аргумент.

А я в свою очередь знал, что упрямый, несносный гений ищет возможность меня уколоть. Ему удалось, но я сдержался, как не замечают порой комариный укус.

— Но всего этого мне не нужно, — уверял он. — Особенно — огласки, ажиотажа. Повторяю: пожалуйста, оставьте меня в покое. Я ведь не прошу от вас ничего более.

От гнева глаза мои стали слезиться. От гнева! Не хватало только, чтобы он подумал, что я плачу; чтобы увидел, что у меня глаза на мокром месте; что он просто... убивает меня.

— Огласки не будет, — сказал я, делая вид, что готов отступить. — Ручаюсь и за себя, и за Никитина. Да он и не понял ничего толком... Только расскажите мне о вашем произведении. Расскажите все! Я хочу знать.

— Нет, я не буду обсуждать мой текст ни с вами, ни с кем бы то ни было. Это всего лишь... мои фантазии, мой внутренний мир. И точка.

Упрямый осел!

В прошлый раз он получил от меня рукопись (зачем я, дурак, отдал ее?!), теперь — обещание, что я буду молчать, не стану поднимать шум, рассказывать друзьям, коллегам, Виктору... не буду писать о нем статьи (эту часть я уже сейчас нарушаю). Значит, Попов мог снова невозмутимо подняться и уйти. Но пока он не спешил. Пытался, вглядываясь в меня, понять, можно ли мне верить? Хотел добиться от меня еще каких-либо обещаний «о неразглашении»?

Инициатива в беседе незаметно перешла к нему, чего ему очень не хотелось, и он выдавил из себя несколько ничего не значивших, пустых фраз. Мне казалось, он хочет испытать мою твердость (насчет моего обещания «спустить все на тормозах»), но что сказать, как подобраться ко мне, не знал. На выручку пришла тема футбола — какая пошлость, какая банальность! Но простор для маневра требовался и мне — мне нужно было найти к нему подход, хоть маленькую щель в глухой бетонной стене, и чтобы выгадать время, я вынужден был тему поддерживать.

Ох уж эти болельщики! Это такое мальчишество, несерьезное, но Попов был из их числа, — будь гений посговорчивее, я бы простил ему и эту прихоть. А я?.. Я притворился, что тоже болельщик. Впрочем, я действительно слежу за всеми крупными международными турнирами. Но Попов быстро вывел меня на чистую воду: уличил в том, что я не знаю фамилии игроков, не помню, кто, у кого и в каком году выиграл...

— Давайте лучше коснемся научной стороны вашей деятельности, — предложил я. — Вы ведь окончили физмат, а еще Институт архивного дела, верно? Физмат интересует в первую очередь. Ваши познания в физике, в точных науках наверняка очень пригодились при работе над вашей космической... эпопеей, не так ли? Кроме того, вы, оказывается, еще и астроном-любитель?

— О да, как говорили великие, ничто не вдохновляет нас так, как звездное небо над головой... — с усталой издевкой произнес он.

Говорить он больше не желал. Ни в какую.

— Да это форменное издевательство! — не выдержал я. — Что за... идиотизм? Что за секретность? Объясните, почему вы скрываетесь?

— Я не скрываюсь, но, будучи человеком сугубо частным, я не терплю грубых вмешательств в мою *частную* жизнь.

— Я, быть может, прошу слишком многого, — сказал я, идя от отчаяния ва-банк, — но позвольте мне ознакомиться с вашим произведением. Я готов оказать вам любую посильную помощь, выступить редактором...

Он хлопнул по столу.

— Молодой человек, вы что, плохо слышите меня? Я не хочу, чтобы мои тексты кто-либо видел. Одно то, что часть моего произведения обнаружил сын, а потом опрометчиво передал нескольким лицам, в том числе и таким назойливым и бестактным, как вы, меня, признаюсь, немало огорчило. Этого не должно было произойти. И я не хотел бы, чтобы это повторилось. В наших с вами силах загладить сложившуюся... так сказать, ситуацию. Я прошу вас просто забыть о случившемся — и я не буду иметь к вам никаких претензий.

Я был ошарашен: он предлагал мне *просто забыть*! Эх, если бы все так просто можно было вычеркнуть из памяти! Я стал спорить.

— Ваш текст — самое прекрасное, что я видел в литературе. Он достоин того, чтобы увидеть свет. Как долго планируете вы держать все в тайне?

— Нет, вы, я вижу, по-прежнему никак не поймете... Как же вам втолковать? Я не собираюсь ничего печатать; не собираюсь ни рекламировать, ни размещать, ни обнародовать, ни публиковать — называйте как хотите!

На этом мы снова расстались.

IV

Много позже я понял, что приходил он лишь для того, чтобы удостовериться, что я не оставил себе никаких копий; это действительно так — я гол как сокол и проклиная себя, простофилю.

На несколько дней я впал в тяжелые раздумья, почти в депрессию — едва успевал выполнять свои обязанности и не мог сделать ничего сверх минимума; однажды почти нагрубил Виктору. Мы, впрочем, примирились — он терпимо относится к некоторым «особенностям» людей, с которыми намерен делать бизнес, тем более с теми, кто, как я, входит в некий элитарный пул.

Но то был еще не конец истории с Поповым. Постепенно мною овладела идея раз узнать что-то о его личности у сына. Я обратился к Никитину, и тот, сразу почуяв, что затея может обернуться для него неприятностями, скрепя сердце организовал-таки нам встречу в Литинституте. Попов-младший, будучи, как мне показалось, парнем достаточно легкомысленным, — не сказать, чтоб совсем раздолбай, но точно не паинька, — согласился, хотя, как и Никитин, был предельно напряжен, опасаясь, что отец узнает. Я тешил себя тем, что и здесь, возможно, хотя бы отчасти возымеет действие мое громкое в литературе имя.

Внешне на отца Попов-младший был абсолютно не похож — видимо, целиком пошел в мать, руководительницу торговой фирмы. Настрой у него был не очень, говорил он со мной отрывисто и даже дерзко. Охотнее всего пересказал историю обнаружения рукописи, но никаких новых, по крайней мере значимых, подробностей, которые пролили бы свет на странную историю, не сообщил. Что я хотел знать? В принципе — многое. Я попросил его рассказать об образе жизни отца, о его привычках, причудах, увлечениях (кроме футбола) — я искал... сам не знаю чего; наверное, любой зацепки. Насколько они с отцом близки? И что вообще у них за семья? О последнем можно попробовать расспросить мою сестру — как только она остынет и перестанет смотреть на меня как на врага народа...

Такого рода расспросы Попову-младшему не понравились, он стал буксовать, и я чувствовал, как нарастает в нем недоверие ко мне. Минут через пятнадцать, от силы двадцать он просто набросил на плечо рюкзак и ушел, сославшись на какие-то вечерние занятия, — узнал я немного. Что можно было выведать за такое короткое время?! Но из скудной полученной информации я заключил, что семья их является типичной, нормальной, в меру современной ячейкой общества. Оба родителя всегда пропадали на работе, а единственный сын с младых ногтей предоставлен сам себе. Может, и неплохо: Попову-младшему дарована привилегия самостоятельности, и он рано повзрослел — хотя бы в том смысле, что стал смотреть на людей и мир со «здоровой» долей ненависти и подозрительности. Родители его никогда не бросали, но интерес, насколько я понял, всегда проявляли скорее внешний, формальный, особенной близости не было. До недавнего времени создавалось впечатление, что каждый из троих абсолютно обособлен и движется в свою сторону; пока не случилось удивительное открытие, что у Попова, как и у сына, есть тяга к творчеству.

И все же незадолго до ухода Попов-младший меня удивил, сделав одно признание, которое меня почему-то уязвило. Увы, не скажу, что мне стало что-то понятно, мне...

по-прежнему ничего не понятно, но что-то во мне перевернулось. Жена Попова, как и моя сестра, женщина весьма эмансипированная, с головой погружена в коммерцию, совершенно независима, ибо зарабатывает гораздо больше, чем Попов. Она сама практичность, знает жизнь во всех ее неприглядных проявлениях и, в отличие от мужа, никогда не витала в облаках. Да, он так и сказал: «Никогда — в отличие от отца — не витала в облаках». И после этого Попов-младший произнес то, что меня поразило:

— Отец маму любит, а она его — нет.

В этом не было ничего удивительного, особенно для человека постороннего, который, как правило, относится к чужому несчастью со спокойствием, «холоднодушием», однако я почему-то расстроился... Никак не могу разобраться в своих чувствах. Слово меня посадили в клетку с кубиком Рубика, пообещав, что не выпустят, пока я его не соберу. И в состоянии решения мучительной головоломки я пребываю до сих пор.

О нашей встрече скоро стало известно. Разразился еще один скандал. Попову-младшему снова досталось, хотя вел он себя гордо и решительно — и перешел в контрнаступление, обвинив родителей в том, что им на него наплевать. Об этом мне поведала сестра — в отношениях с женой Попова у нее теперь (из-за меня) наступило похолодание; сама же она со мной и вовсе не разговаривает, и бог весть, когда я смогу побороть ее обиду. В обиде на меня и Никитин: научное руководство над Поповым-младшим он после «инцидента» потерял (а ведь ему это для чего-то нужно — как минимум, потому, что преподавателям за него доплачивают), а главное, ректор сделал ему выговор. Что до меня, то мне позвонила жена Попова и в истеричной форме — кто бы ждал такого от железной, уверенной в себе бизнес-леди? — пригрозила полицией, если нечто подобное повторится. Вообще же она потребовала, чтобы я отстал от них подобру-поздорову. Все они, видимо, пребывали в самых расстроенных чувствах, и мне ли, человеку, страдающему паранойей, их не понять.

Сам Попов связываться со мной не стал. Да и зачем? Жена его все доходчиво мне объяснила. Одно время у меня была репутация радикала, потом, после развода, меня нарекли отшельником; не хватало заработать еще и репутацию маньяка!

V

А впрочем, мне все равно. Мучает меня другое.

Как же плохо знаем мы тех, кто живет с нами рядом, включая членов семьи, ближайших родственников! Какие бездны могут быть сокрыты в самом, казалось бы, обыкновенном, заурядном человеке!.. История Попова и его загадочной рукописи — яркий тому пример. Я мог бы вывести его под фамилией Иванова, Петрова или Сидорова — его настоящая фамилия так же тосклива, как Попов и все вышеперечисленные. Кто есть Попов в глазах окружающих? Архивная крыса, не более. В масштабах страны, не говоря про мир, он вообще никто и звать никак — *попате*; однако какая причудливая, гениальная и потому безумная сущность обитает под тривиальной оболочкой! Возможно, Попов — пришелец, умело мимикрирующий на нашем убогом земном ландшафте.

Если серьезно, то все это время я пытаюсь понять, чего Попов хочет, какой цели он добивается... Не может быть, чтобы у него не было *никакой* цели. Ведь сочиняет же он свой роман! Для собственного удовольствия? Полноте! Нет, у людей, конечно, бывают милые их сердцу забавы, о которых они никому не рассказывают, но до сих пор я не знал ни одного писателя, ни одного творца, который не желал бы *делиться* своими произведениями, не мечтал бы о том, чтобы его узнали, заметили, чтобы им восхищались; чтобы воздали за труды по заслугам, в конце концов! Только, пожалуй, Господь Бог поначалу одиноко и молчаливо взирал на свои творения — но ведь сами

созданные им люди довольно быстро «спохватились» и начали петь ему осанну, благодарить за этот «лучший из миров»...

А что Попов — возомнил себя Богом? Бред какой-то...

Вот несколько вопросов, которые я не могу разрешить.

Можно ли быть философом, не возвещая миру о своем учении? Можешь ли ты считаться писателем, если твои произведения, абсолютно бездарные или, напротив, самые что ни на есть гениальные, не читал никто, кроме тебя самого? Да и читал ли ты их сам — может, тобою, словно пишущим инструментом, движет какая-то высшая сила, а ты этого даже не осознаешь? Попов, кажется, не таков; он точно в своем уме, я знаю, я чувствую, что он прекрасно отдает себе отчет в том, *что* он сотворил...

Сначала, размышляя так, я восхищался им как человеком необыкновенной воли и цельности, поборовшим гордыню — великий грех. Не человеком, а *сверхчеловеком* с поистине несгибаемым внутренним стержнем! Мы-то, простые людишки, имеем столько слабостей, изъянов, пороков и снисходительно оправдываем их, даже любимся ими, ибо чего с нас взять!

Сколько омерзительных халтурщиков и тщеславных бездарей, горе-поэтов, прозаиков и драматургов стремятся всеми правдами и неправдами издать свои ничтожные, высосанные из пальца «творения», да просто привлечь к себе внимание. Не найдешь сейчас вшивой знаменитости, поп-дивы, телеведущего, кто не «написал» бы книгу о своем жизненном пути и о своем кредо. Пишут они, конечно, несамостоятельно, ибо нет ни мозгов, ни таланта, ни вкуса, чтобы связать хотя бы две строчки — но наготове орды литературных негров! И потому, когда я захожу в любой крупный книжный магазин, буквально заваленный от пола до потолка всевозможными изданиями в ярких обложках, с сенсационными названиями и с претензией на значительность содержания, глубину — в большинстве своем это жалкие дешевки, я вижу мрачное кладбище идей и талантов, которые задавлены этой чудовищной массой, блевотиной типографий и полиграфкомбинатов. Найти в книжном можно все что угодно, любой шлак, любые отходы, а вот гениальных произведений Попова здесь нет — и не случайно, а показательно, закономерно! Ну не преступление против человечества ли это? Как прикажете называть это, как не страшной гуманитарной, культурной катастрофой?

Однако, перетряхнув в себе все эти мысли, я вдруг стал думать о Попове иначе — и что это за чувство, если не ненависть? И если выше я писал о преступлении — то именно он, Попов, и есть опаснейший, злостный преступник и негодяй! Он предал нас, ибо через грех гордыни дьявол завладел им с другой, обратной стороны, — а мы-то и не подозревали об этой опасности. Получается, Попов так возгордился своей гениальностью, что, не желая никому показывать свои шедевры, ежедневно ублажает себя абсолютной скромностью, закрытостью от мира и — полной святостью! Да-да, он наверняка считает себя святым, ему кажется, что он доказал, что он выше всего бренного, что ему негоже стоять на одной доске с людьми низшего порядка (вроде меня), живущими в мире издательств, контрактов, гонораров, рекламных акций, встреч с читателями...

Простите, меня, кажется, занесло, я, наверное, перебрал с религиозными терминами, хотя человек я невоцерковленный, немного агностик, во многом материалист... уж простите, если кому-то претит эта терминология или если кто-то, напротив, считает, что я святотатствую.

Я не в силах осмыслить этот феномен, поэтому, подыскивая различные ключи, пробую подобраться к нему с помощью понятий, определенной лексики...

Быть может, в поповском тексте, в его шедевре, заключено оправдание всей нашей никчемной, скоротечной жизни; кто знает, может, там сокрыт смысл всего бытия.

Там Откровение, которое разверзнет Вселенную, там Красота, которая спасет мир, но... но всему этому решил воспрепятствовать один фанатик, сумасшедший!

Он должен был с нами *поделиться*, а вместо этого он всех нас *обделил*. Подумать только, он обедняет, обкрадывает даже собственного сына! Хотя в этом, впрочем, он, может быть, и прав: будущий заурядный писатель Попов-младший, прочитав отцовский текст, навсегда остался бы в глухой тени ослепительного шедевра, для него совершенно недостижимого (как невозможно смотреть на солнце невооруженным глазом), и страдал бы и проклинал отца и себя... Хотя, возможно, я сгущаю краски...

О чем вообще я говорю!..

Стоп. Кажется, главное, что я понял: Попов — мерзавец! — *не собирается никого спасать*...

Неужели существующий, скорее всего, в единственном рукописном экземпляре шедевр, книга книг, так и будет лежать под спудом, пока все листочки не истлеют? (Может, Попов собирается сжечь свой роман на смертном одре?) Неужто целый мир, бесчисленное множество поколений на тысячелетия вперед — так ничего и не узнают?

И какая горькая ирония в том, что, не имея возможности прикоснуться к гениальному произведению, мы довольствуемся лишь ничтожным пересказом событий о том, как близко оно было, как могло вырваться на свет, как один из смертных держал его в своих руках, да выпустил — убогим пересказом в моем исполнении...

В последние дни я много сплю — как никогда, много, но никак не могу выспаться; видимо, могучая мрачная апатия подавляет все мое существо... У меня действительно не осталось никаких копий, и я не смогу восстановить даже отрывки прочитанного мною текста по памяти. Дело не в памяти. На память я не жалуясь. Просто — это выше моих сил...